

U. Cattell 1968





Л Е В С А К С О Н О В

Ж
И
В
О
П
И
С
Ь

Г
Р
А
Ф
И
К
А

ХОЛОКОСТ

1. 1993г.
х/м, 100х132см.
2. «Фотография 1943 г.»..... 1993г.
х/м, 100х132см.
3. 1999г.
х/м, 100х121см.
4. «Станция»..... 1993г.
х/м, 75х119см.
5. «Эшелон с детьми идет в Освенцим»..... 1998г.
х/м, 75х132см.
6. «Расстрел»..... 1999г.
х/м, 100х121см.
7. «Мишени»..... 1999г.
х/м, 100х121см.
8. «Варшавское гетто»..... 1996г.
х/м, 61х80см.
9. «Варшавское гетто»..... 1999г.
х/м, 70х90см.
10. «Варшавское гетто»..... 1998г.
х/м, 70х90см.
11. «Дом сирот Я. Корчака в Варшаве»..... 1999г.
х/м, 70х90см.
- 12 «Реквием»..... 1999г.
х/м, 100х121см.
13. 1999г.
х/м, 75х132см.
14. 1999г.
х/м, 100х130см.
15. «Помните нас, иначе
это может повториться»..... 1999г.
х/м, 100х156см.

16. «Формула фашизма»..... 1999г.
х/м, 75х132см.
17. 1989г.
офорт, 80х60см.
18. 1993г.
гуашь, 60х80см.
19. 1979г.,
офорт, перо-тушь, 72х49см. 1998г.
20. 1998г.
офорт, перо-тушь, 72х49см.

II АВТОПОРТРЕТЫ

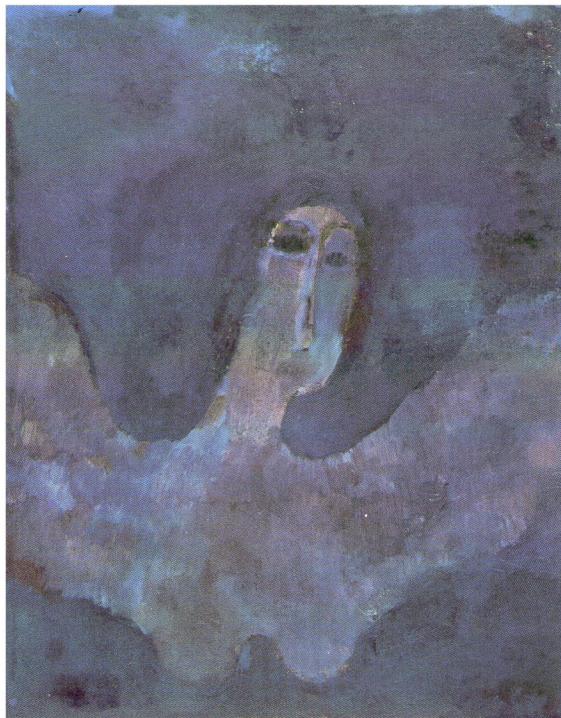
1. «Не везите детей в Освенцим»..... 1989г.
х/м, 80х100см.
2. 1989г.
х/м, 90х70см.
3. 1991г.
х/м, 100х132см.

III ЗВЕРИ И ПТИЦЫ

1. 1998г.
к.,х/м, 73х70см.
2. 1998г.
к.,х/м 73х70см.
3. 1998г.
к.,х/м 73х70см.
4. 1998г.
к.,х/м 79х70см.
5. 1998г.
к.,х/м 79х70см.
- 6-13. «Совы»..... 1996г.,
к/м 50х41см. 1997г.
14. 1991г.
офорт, 48х48см.
15. 1991г.
офорт, 48х48см.

IV ИЛЛЮСТРАЦИИ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ

1. 1998г.
линогравюра, перо-тушь, 72х49см.
2. «Не умирай, сынок»..... 1998г.
офорт, перо-тушь, 72х49см.
3. «Из путешествий во сне»..... 1998г.
офорт, перо-тушь, 73х52см.
4. «Из путешествий во сне»..... 1998г.
офорт, перо-тушь, 73х52см.
5. «Диалоги»..... 1998г.
офорт, перо-тушь, 70х49см.
6. «Эсфирь и Амман»..... 1998г.
линогравюра, перо-тушь, 73х51см.
7. «Старая Ладога»..... 1998г.
офорт, перо-тушь, 66х46см.
8. «Золото»..... 1998г.
офорт, перо-тушь, 68х46см.
9. «Названия»..... 1998г.
офорт, перо-тушь, 68х46см.
10. «Игра»..... 1998г.
б/м, 60х80см.





«Холокост». 1993 г. Офорт. 50x50





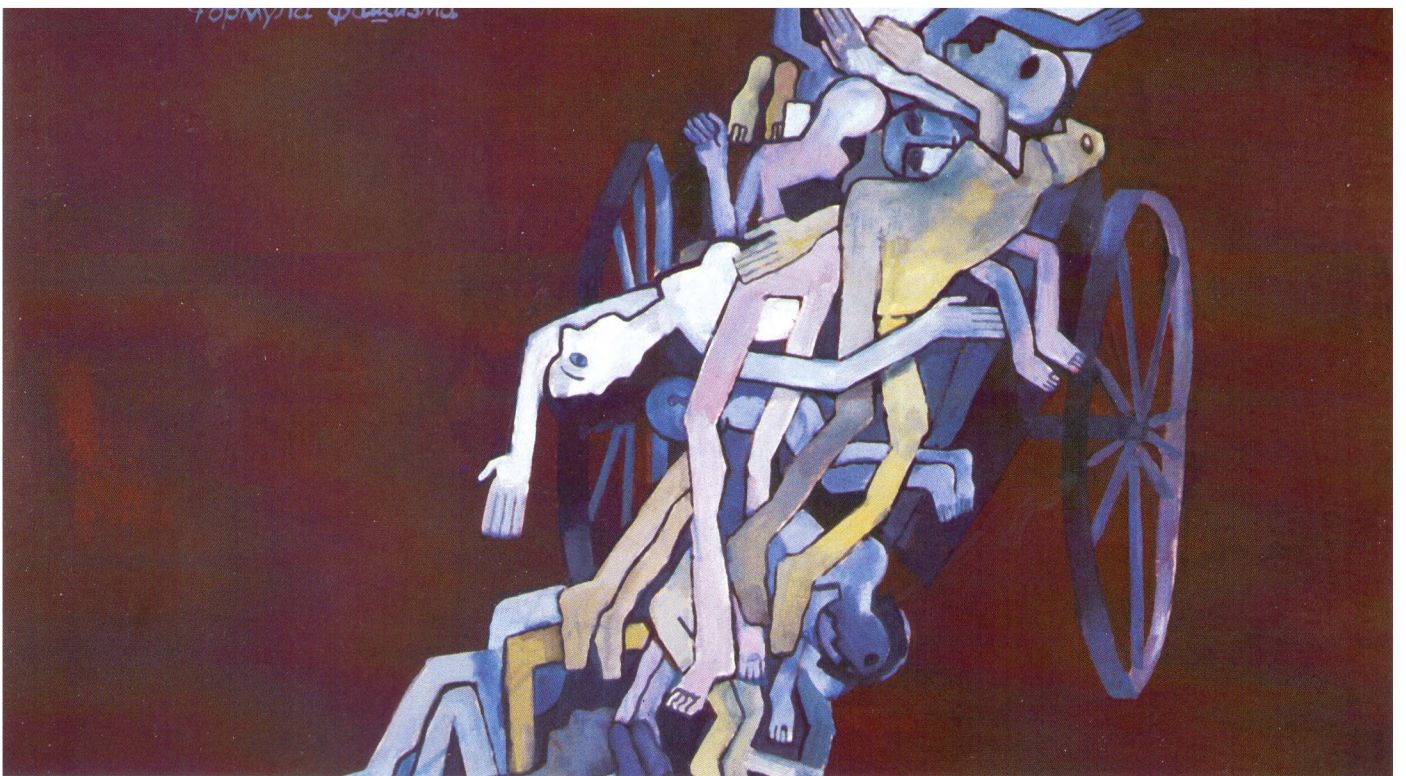


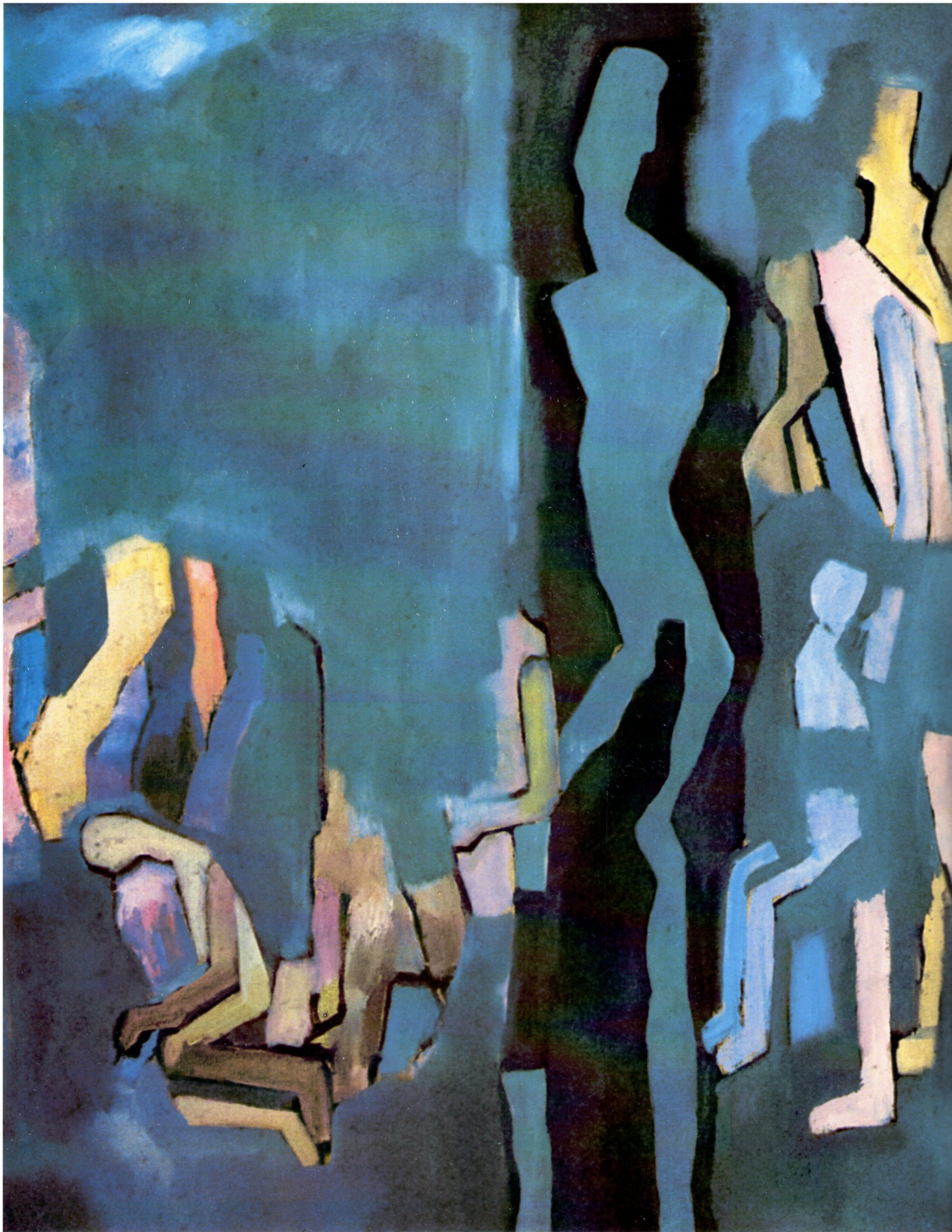
«Звери». 1998 г., х/м., 73x70











«Холокост». «Помните нас, иначе это может повториться»
1999 г., х/м., 100x156



Автопортрет.
«Не везите детей в Освенцим»
1987 г., х/м., 80x100





Л. Саксонов

АВТОБИОГРАФ

и я оглянулся.

Когда-то в рязанской деревне я спросил, как пройти к речке. «Выйдешь из деревни, дорога будет широкая, ты ей не обольщайся, пойдя боковой тропкой, она тебя приведет». Четыре раза потрясло меня ощущение истины и счастья. В сентябре 1941 года я пришел в изостудию Воронежского дворца пионеров и вдохнул впервые запах краски для живописи.

В 1944 году мама забрала меня из Кушнареноква в Башкирии. Мы прошли улочки райцентра, когда кончились дома, мама остановилась, вынула из мешочка буханку хлеба. Я забыл, как пахнет хлеб. Хлеб из отрубей и соломы драл горло, как проволока. Последние крошки его я бережно собрал и съел месяц назад. По утрам сосал соль, чтобы заглушить голод, на вечер оставлял две-три картофелины. Мама отломала горбушку - хлеб мокрый, вязкий, наполовину с картошкой, но пахнет хлебом, но хлеб.

Летом 1952 года я был в экспедиции в Кара-Кумах. Воду раз в неделю привозила полторка. Однажды не приехала, застряла где-то в барханах. Работу отменили, мы лежали в палатке, обливаясь непозволительно бездельно роскошью - потом. Было бы плохо, но случайно мимо лагеря ехал на верблюде туркмен. Он дал нам несколько дынь. Такой вот далдынь. Я взял в руки дынный дынный ломоть - он был влажный! - как величайшее благо.

В 1962 году я шел со Светой Винокуровой, и чувство абсолютной истины поразило меня

Я мало знаю о своем отце Григории Марковиче Саксонове. Он умер, когда мне было девять лет. Родом отец с Украины. Воевал с немцами в 1-ю мировую. Мы с сестрой Лилей не расспрашивали маму об отце. Для нее смерть Гирши была страшной вероятностью. Я знаю только, что папа перепробовал много профессий - и рабочих, и служащих, когда ему было уже сорок, окончил Воронежский сельскохозяйственный институт. Работал под Камышином на Волге (в г. Камышине 2 октября 1929 года я и родился). В начале 30-х был голод. Чувство бессилия, вины и страха (ведь виноваты были не раскулаченные, не колхозы, не система, а вредительство «спецов») предложило ему бросить агрономство. Это сельхозстрадание (когда каждый день ждешь ареста) свело его рано со смертью. Ведь он был очень сильным физически и очень жизнерадостным. Любил театр, выступал в самодеятельности. Я помню его часто поющим еврейские и русские песни.

Во время снежной метели ближние деревья - черные, подальше чуть видны, еще дальше становятся метелью. Или метель становится деревьями.

Я поступил в Воронежскую среднюю школу в 7 лет. В первый же учебный день начал разрисовывать клеточки в тетради по арифметике цветными карандашами. Получались веселые абстрактные картинки. Учительница поставила мне «плохо» (двойку). Я удивился - ведь тетрадь стала красивее, но не расстроился. Когда же в конце года мне поставили «посредственно» (тройку) за рисование, на меня, как штука-турка с потолка, посыпались обломки мира. Я вышел из школы, подождал, пока пройдут ребята, и разрыдался. Если бы я знал, сколько еще предстоит мне разрыданий по этому поводу.

Люди вповалку на полу станций, и промелькнул поезд.

Случайно в ноябре 1941 года мама встретила на улице Воронежа родственника моего отца. Он работал преподавателем ремесленного училища. Не знаю, что бы с нами - мамой, бабушкой, сестрой и мной - было (наверное скоро нас совсем бы не было), если не эта встреча. Вечером того же дня или на следующий, не помню, мы расположились на дощатом полу теплушки, набитой семьями сотрудников ремесленного училища. Эшелон шел медленно и неизвестно куда. Сколько я прожил жизнью? Одна из них - почти два месяца в теплушке. Жизнь, где главная музыка - истеричные визги и скрябы тормозов, тонкие гудки маневренных паровозов «О» (как женщина кричит «ой», «ой») и басовитые, властные паровозов «СО» и «ФД». Я привык к толчкам в начале движения. Пачему-то по ночам наш состав переводили по несколько раз на другие пути. Спишь, и вдруг, сонный, катишься по полу, натыкаясь на других людей, валяются вещи вперемешку с матом, вагон резко останавливается, и опять катишься. Жизнь с копотью и паром - паровоз пыхнул и укутался белым, только труба торчит черная, или фонарь, или спицы на полколесе. Станции, забитые составами, идущими на запад, на фронт - они

почти не задерживались. Встречные, вроде нашего, подолгу стояли на станциях. Станционные залы, переполненные людьми, узлами, детским плачем, запахом мочи и беды. Снег вдоль составов в желтых вписанных дырах, поднятые и опущенные семафоры, стрелки, и вся видимая земля одета снегом, отороченным рельсами, очереди за кипятком. Я иной раз нырял под десяток составов, чтобы добраться до этой очереди. Обратное с полным чайником проползти под вагонами было неудобно и страшно: вдруг рванется состав и не успеешь вылезти. Я простудился. Мама укрывала меня своим пальто. Я лежал и думал: неужели был Воронеж и Графская, и одноклассница Леля Гончарова, и друзья, школа, книги, игры, художественная студия с божественным запахом краски, и постель с простыней и одеялом, и жареная картошка, и сколько хочешь хлеба.

И была ли наша двухкомнатная квартира? В коридоре стоял маленький стол, на нем примус. Квартира была расположена под крышей старого двухэтажного домика. В одном конце коридорчика - входная дверь, в другом дверь, ведущая прямо на крышу. Я часто летом лежал на ней, горячий, и читал книгу. И еще был балкон со стороны двора. Двор весь в старых каштановых деревьях. Одно из них почти касалось балкона, и я мог запросто спуститься по этому дереву на землю.

Дверь теплушки была раздвинута.

Холод.

Паровозный дым.

Воронеж и квартира с выходом на небо и на землю кажутся внезапно прерванным блаженным сном. И так внезапно дернуло вагон, что я покотился вместе с маминым пальто. Пять минут назад мама пошла с чайником за кипятком. Целую неделю мы стояли на этой узловой станции, и вот поезд тронулся, а мама осталась. Зимой, без пальто, без документов, без денег. Несколько минут была надежда, что состав переводят на другое путь, но колеса стучали все быстрее и мы - семидесятиодолетний дедушка, 15-летняя сестра и я, 12-летний - уезжали. Из жизни.

Не помню, сколько дней уезжали. Мама вошла в теплушку на какой-то станции маленькой.

И я увидел ее.

И Леля увидела ее.

И дедушка, Израиль Залманович, увидел ее.

Промерзлая «теплушка», поезд идет куда неизвестно, кончились жалкие продукты, взятые в Воронеже - какое это имеет значение!

Провинция передо мной провинилась, или я перед ней провин(ц)ился?

Дедушка. Израиль Залманович Хасин, родился в 1870 году в местечке (кажется Монастырщина) Смоленской губернии. Когда он был маленький, отец его, уважаемый в округе знаток и толкователь Священного писания, привез керосиновую лампу. Весь день жители местечка ходили смотреть это чудо. Они толпились у двери, и когда выходили посмотреть, заходили по несколько человек. Они трогали лампу, гладили стекло, «ну и цаца» - вспоминал дедушка. Он умер в 1965 году, когда наступила эра полетов в космос. Иногда дедушка снится мне, и во сне я думаю: какое счастье. что дедушка живой, это неправда, что он умер. И просыпаюсь печально.

К сожалению, не знаю бабушкино отчество. Звали ее Ханна. Сейчас, когда стыдно, спросить некого. Была она, помню, (мне было лет семь, когда она умерла), молчаливой. За всю жизнь не сказала бранного слова никому, и все, что у нее было, лишнее и необходимое, раздавала тем, кто нуждался. Дедушка нещадно ругал ее за это. Он был энергичный очень. до любого труда жадный и сантиментов не любил. В лучшие времена у него было несколько коров и немного пахотной земли (что очень удивительно для еврея в черте оседлости).

К моему стыду я ничего не знаю о бабушке и дедушке со стороны отца. Они умерли до моего рождения. В юности не догадался расспросить, а сейчас не у кого. Сколько же досталось моей маме, Софье Израилевне Хасиной, пытаясь от жизни. И в 41-ом, когда она зимой в платьице, бежала по путям, еще не веря, что эшелон уехал в неизвестность. И до войны - одна с тремя иждивенцами. И в Башкирии каждые две недели приносила мне в Кушнаренокво, где я учился, несколько килограмм картошки. И чего стоило добыть эти килограммы. И дорога от деревни

Шарыпово, где мы жили до райцентра Кушнаренково - 22 км, зимой, туда и обратно в один день. Морозы в Приуралье в те сороковые были за 30, и метели играли с дорогой в прятки. И за всю жизнь. что я помню ее, не удела она себе самой, наверное, ни одной минуты. Даже ни разу не позволила отметить свой день рождения. Как я жалею, что мы с сестрой не могли переубедить ее.

Дымный шлейф падающего самолета перечеркнул небо. За день до отъезда из Воронежа (мы еще не знали, что завтра уедем), я пришел в изостудию. Педагог, Вера Ивановна, стояла у окна. За окном, по диагонали, падал подобный самолет, не рассмотрел - наш или немецкий. Мы прождали час горестно. Никто не пришел. Гипсовый слепок Гомера на подоконнике высоко вздернул брови. Он понимал, что эта война не чета Троянской. Ничего не понимал он, так же, как и я. Разве мог я подумать тогда, что война продлится четыре года. И каждый год длиною в четверть вечности. Из студии я вышел на Проспект Революции. Вечерело. Прохожих почти не было, за рекой Воронеж полыхало небо - горел СК - завод синтетического каучука. Я знал - мама волнуется, надо было бежать домой. Но я пошел в свою школу. Повлекло туда, как железный опилек к магниту. Двери школы раскрыты. Тишина подчеркивалась ревом голодных зверей: к школе примыкала зоопарк. На его территории была вырыта траншея, прикрытая бревнами и землей. Во время воздушных тревог ученики прятались в этой траншее. После отбоя, часто и до него, мы бегали по зоопарку. Я знал там каждую клетку и каждого зверя. Я вошел в школу. Тишина, соскучившаяся по гомону на переменах, голосам учительниц и отвечающих и еще каким-то непонятым, приглушенным звукам во время уроков, набросилась. Первый раз в жизни я ощутил тишину, как данность более активную, чем даже грохот. Я поднялся на второй этаж. вошел в свой 5-й «Б» класс. Горчайшая радость наполнила меня: в пустом классе сидела на своем месте - на третьей парте в правом ряду - Леля Гончарова. Не помню, о чем мы говорили. «Посмотри, на лестнице пьяный валяется», - сказала Леля. «Я думал, что в школе только мы двое. Я распахнул дверь на запасную лестницу. «Это сторож, еврей, терпеть не могу евреев», - Леля скорчила лицо. Наверное, ее обманывала моя фамилия. Я спешно попрощался, не взглянув на Гончарову, и побежал, задыхаясь от горчайшей горести.

Кто сказал: ветер позонаят ветер.

У меня был друг - Коля Боев. Мы жили в одном доме, и он был мне как брат лет с 4-х. Я до сих пор помню его маму - тетю Груню, отца - дядю Федора и младшего братишку Витю, по прозвищу «Седой». Мне было девять лет, мы стояли с Колей в подворотне нашего дома и почему-то поссорились. «Жид», - бросил он мне. Если бы он бросил в меня камень, было бы легче. Я не очень понимал это слово, но чувствовал его страшность. «А ты ему скажи «жлоб», - пожалел меня стоящий рядом взрослый парень. «А ты жлоб», - сказал я Коляке, но стало еще тяжелей. Назавтра мы помирились, но уже никогда я не мог перейти пропасть, разделившую нас не по моей вине.

В ноябре-декабре 1941 года каждое утро, вылезая из товарного вагона и увеличивая число желтых воронок на снегу (до станционных уборных было далеко, и они были так забиты замерзшей мочой и калом, что даже женщины пользовались ими редко), я встречал фэззушников из соседних вагонов. Они тоже делали воронки или, наоборот, холмики. Иногда они дразнили меня, а один хватал за воротник и произносил «У, жи-и-и-да» (с мягким знаком и долгим «и») одновременно с удовольствием и с такой лютой ненавистью, что у меня мурашки по сердцу шли. Понять я не мог никак: немцы ненавидят евреев и наши. сражающиеся с немцами на- смерть, тоже.

В 1942-44 годах я учился в Кушнаренковской средней школе в Башкирии, в Приуралье. От избы, где мама для меня снимала койку, до школы было недалеко идти по главной улице. Я шел мимо базара: две-три женщины на крытом лотке раскладывали картофелины. Торговали поштучно. Морозный воздух пах торфянным дымом - печи топил торфом. Он остался для меня запахом войны, голода и немного ада. Часто перед базаром меня поджидал мальчишка старше меня, из местных. сытый и здоровый. Он, в отличие от Лели Гончаровой, точно определил мою национальность. В школе он меня не трогал. а на улице перед базаром обязательно дрался со мной. У меня от голода и страха дрожали колени. Он был выше и сильнее меня. Я мог бы пройти до школы не по главной улице и не встретиться с ним, но я ни разу себе этого не позволил. Сколько раз я опаздывал на уроки: приходилось держать снег на носу,

чтобы остановить кровь, умыть снегом лицо. Потом я вытирал лицо рукавом, глотал кровь, и от запаха крови и торфяного дыма меня тошнило, кружилась голова, и я стоял еще сколько-то времени, чтобы прийти в себя.

Я помню почти весь свой пятый класс Воронежской школы, но не помню никого, кроме одной девочки, из Кушнаренковской школы, где я учился в 6-ом и 7-ом классах.

5-й класс я закончил в селе Шарыпово, в 22 км от Кушнаренкова, в татарской школе. Там ребята, бывало, избивали меня. Но у меня нет на них обиды, они били меня не за то, что я еврей, а так просто. Да и били коллективно, правда, но не до крови.

И что это все печальные воспоминания? Ведь была в Шарыпове загадочная речка Кармасан, где я ловил летом рыбу. Крючки я делал из булавок, а достать палку для удиллица было трудно - в Шарыпове деревьев не было, вокруг степь. В ней паслась наша коза, без нее мы бы не выжили. Я доил ее утром и вечером. Надаивал за день до литра полынного молока. Косил для нее траву на зиму. Были горы в Кушнаренкове, я очень любил спускаться с них на лыжах в не совсем голодные дни. И людей было много хороших - и татар, и русских. Я бесконечно благодарен людям, помогавшим маме в ее недельной одиссее по лесам и вокзалам, пока она нашла нас. Последние двое суток маму везли военные, вопреки уставу. Ведь даже в мирное время у нас нещадно ловили «шпионов». Почему военный зшелон шел на восток? Мама говорила, я не помню. Военные поверили паспорту в виде чайника, приютили ее, накормили.

И было «важное сообщение» по радио. Я помню солнечное утро, голос Левитана сообщает о Сталинградской победе. Не часто, но бывало у меня через многие годы после Кушнаренкова состояние такого огромного счастья, что оно не вмещалось во мне, я думал, куда мне его столько, о, Господи, если бы можно было распределить на всю жизнь, то всю жизнь я был бы в меру счастлив. Но проходило немного времени, и это состояние убежало, как будто его и не было. То «тихое» счастье от Сталинградской победы во мне живо и сейчас.

Но в целом то время было стеснительно и тускло. Медсестра в школе, врачиха качает головой и говорит обо мне медсестре: «Какой ужас, он весь завшивленный, а ведь мальчик из интеллигентной семьи». Я убежал домой, зашел в сарай, разделся - вся майка усыпана черными точками. Сейчас мне непонятно, чего из-за этого я так переживал - жить не хотел. С того дня утром и вечером я осматривал нижнее белье и давил, давил вшей. Но их не убывало, как будто они выходили из моего тельца.

У первой квартирной хозяйки изба была набита жильцами. Я спал на русской печи. На печи все время сушились колотые дрова. Поверх дров дерюжка, поверх дерюжки - я. Прожил я в этой избе наверное дней десять, прежде чем мне понадобилось по большей нужде. Уборная во дворе была заколочена. Я спросил хозяйку, куда идти. Она указала на место возле собачьей будки. Я присел, огромная черная зверина рычала от нетерпения, и не успел я поднять штаны, как снег стал опять чист. Кобеля этого больше ничем не кормили.

Когда мама пришла ко мне из Шарыпова, я совсем доходил. Картошку, которую мне оставила мама, хозяйка заменила на гнилушу, я не мог есть черную, мерзко пахнущую жижу. Мама сняла мне угол с койкой у другой хозяйки. Одно время у нее снимала комнату школьная учительница математики, ученики звали ее биссектрисой. Тогда ввели налог на бездетность, и наша хозяйка возмущалась: «Что ж ей, от соседского кобеля заводят детей?». Мужиков не был, мне было жалко учительницу очень.

В седьмом классе я жил опять у новой хозяйки, но помню уж почему. Жильцов, кроме меня, у нее не было. Запомнил одну ночь. На русской печи спала Полина, одинокая, бедная пожилая дурочка. Ее по очереди содержали все семьи Кушнаренкова. Легла Полина на печь и, как из пулемета, стала выпускать газы. Я задышался. Накрылся одеялом с головой, но это не помогло. Форточки не открывались. Я встал, тихонько в темноте открыл дверь и вышел во двор. Над двором сияло звездами огромное небо. Я глотал морозный, настоящий на звездах воздух, как мороженое. Я простоял бы всю ночь, не чувствуя разницы между бесконечным сиятельным небом и провонючей коморкой. «Ты чего?», - хозяйка, наверное, услышала, как я открывал дверь, и вышла на крыльцо. Мы зашли в дом., в закуток. -Полина, не бди! - Я, тетенька, вчера у Карнауховых жила, они горохом кормили.

В Шарыпове я пошел учиться в пятый класс уже после нового, 1942 года. Школу, большую избу, не топили. Сидели одетые, писали карандашами - чернила замерзали. Школа татарская. Были уроки русского языка, но никто из учеников моего класса не говорил по-русски. На математике было легче, я до сих пор помню: бир, ике, зшь, дурт, бишь и т.д., а на остальных уроках сидел дураком. В Шарыпове было много слепых пожилых людей. А почти все остальные, в том числе и мои одноклассники, болели трахомой. Глаза у них были красные, гнойные и все время слезились. В то время трахому лечить не могли, она приводила к слепоте. Как-то после уроков ребята окружили меня, потом набросились, повалили на пол. Я отбивался долго, тогда, до Кушнаренова, я был сильный. Но несколько ребят держали правую руку, столько же левую, на ногах уселась целая куча, двое держали голову. Один, самый трахомный, у него были совсем большие, почти слипшиеся глаза, поплевал на пальцы, потом долго тер свои гнойные глаза, потом опустился на колени и стал тереть этими пальцами мои глаза. Зрителями этой сцены были девочки 5-го класса: они стояли полукругом и что-то быстро говорили - наверное, осуждали ребят.

Была весна, я кое-как окончил 5-й класс и сказал маме, что больше ни за что не буду учиться в этой школе. Вот почему осенью мама повела меня в районный центр Кушнареново, где была русская школа.

Иногда так хочется укрыться сном!

Жизнь шла под тяжелым покрывалом. Ни своего угла, ни мебели, ни постельного белья, ни друзей, ни книг, ни бумаги. Еще хуже, что не стало желания читать, рисовать, ходить в школу. Черная зверь - того и гляди откусит задницу, слезающаяся трахома, несколько картофелин на всем базаре, морозный воздух, приправленный торфяным дымом, собиравшие колосок в презимнем поле. Я в Шарыпове собирал их, отдирая примерзшие от земли. Потом их собирать запретили - началась «горловая болезнь», люди умирали в два-три дня - чума. И, главное, постоянный, как горб, голод, бир, ике, зшь, дурт. Как же я был благодарен Леле Гончаровой, что приснилась она мне однажды. Однажды за все эти годы просто приснилось ее лицо. Несколько дней я ходил счастливый и много дней потом, хотя прошла и детская влюбленность, и обиды, я был благодарен ей: она напомнила, что есть мир без покрывала, высокий мир. Когда я учился в 7-м классе, во время перемены, одна девочка, единственная, кого я запомнил из всего класса, достала бумажный сверток, развернула его. Если бы я встретил тогда инопланетянина, я был бы потрясен меньше: она ела настоящий хлеб, да еще - я тогда не мог и представить себе этого - с маслом. Несколько секунд я был не в силах оторвать взгляд от бутерброда, потом заставил себя отвернуться. Я возненавидел эту очаровательную темноволосую девочку, как ненавидит пролетарий буржуа. Была весна. Хозяйка послала меня за хворостом. Я шел по склону горы. Наткнулся на гамак. В гамаке сидела, покачиваясь и читая книгу, эта девочка. - Левик! - вскрикнула она и соскочила с гамака. - Здравствуй! - Здравствуй, - пробурчал я зло и пошел, не останавливаясь, дальше. Шел несколько минут, потом замедлил шаги, потом остановился. Вся гора цвела черемухой. До этой минуты я не обращал на ее запах никакого внимания. Я думал: она вскрикнула «Левик» так радостно, как будто принца встретила. Она же не виновата, что ее отец - директор сельскохозяйственной испытательной станции, эвакуированной в Кушнареново. И ест она свои бутерброды не стесняясь, потому что не знает, что я и, наверное, еще многие в классе голодают. Я больше не злился на нее. Может быть, войдет в жизнь хоть немного тайны, и не будет тогда эта жизнь так низменно тяжела. Я повернул назад. Я ходил и ходил меж кустов и деревьев, но ни гамака, ни девочки не было. Она растворилась в черемуховом мареве. Больше я ни разу ее не встретил. Был 1944 год, многие эвакуированные возвращались в свои города. Очевидно, она уехала, даже не став сдавать экзамены.

Отдала луна свой серп ночной степи, зашарыпила степь, занесло серп снегом, и стали ночи безлунными. Той зимой перед каникулами я поехал на лыжах в Шарыпово. Погода была солнечная, часа за 2-2,5, думал я, добегу. Половину пути пробежал быстро. Потом разыгрался ветер, дорогу занесло. Пока я блуждал, искал дорогу, стемнело. Дорогу нашел, но не мог переставлять лыжи. Съесть бы хоть одну картофелину. Я снял лыжи, пошел, волоча их за собой. Наступила безлунная ночь. До Шарыпова оставалось не больше километра, но я не мог идти. Я лег на лыжи, чтобы не заснуть, смотрел на небо. Сквозь

снег еле светились звездочки, их гасили облака, потом они снова светились и снова гасли. Я встал, прошел несколько шагов, лег. Так много раз, пока дошел до дома. Была уже поздняя ночь. Все каникулы и почти всю следующую четверть я проболел.

Рогаты там волки, а быки мыкают жизнь, а на голове у них города.

Прощай, Шарыпово, исэн булыгыз.

Прощай, непрерывный - и днем и ночью - гул телеграфных проводов - симфония одной ноты, то громкая, как рев шарыповского быка, то тихое, чуть слышное минорное гудение на той же ноте.

Прощайте, полевая полынь с горьковатым тоскливым запахом и загадочная двухметровая конопля за сараями.

Прощай, поворотливая, мрачноватая, загадочная речка Кармасан.

Прощай, шарыповский бык, белый, с охристыми пятнами на боках и голове. Голова широкая - с полполя, а сам - как его поле вмещало? Возвращался с пастбы он не со стадом, а позднее, один. Я много раз наблюдал за ним в уже темнеющем поле. Он шел медленно, останавливался, передней ногой рыл поле и тихо, злобно мычал: уу-а («уу» - высоко, «а» - низко). Мыкнув так несколько раз, он переставал сдирать траву с земли, задирая голову к звездам и ревел: уу-ааа-а («уу» - низко, «ааа» - до самой высокой ноты, «а» - низко). Ревел он так остервенело, что я думал: кто его обидел, почему надо запугать вся вокруг и всех. Он был безрогий и, может быть, хотел лютостью восполнить этот пробел в своем бычьем обличье. Я помню разговоры об этом быке, о том, что он затоптал кого-то, и что надо не бежать от него, если уж встретил, а стоять на месте, тогда он не тронет. Однажды я шел домой полем. Тропинку перегородило отдыхающее стадо. Быка не было видно, и я пошел по тропинке. Поднялся бык и трусцой направился ко мне. Я, помня благой совет, остановился. Бык подошел, обнюхал меня, стал рыть поле поочередно одной передней ногой, потом другой и злобно помывивать: уу-а, уу-а. Потом попятился. Я вздохнул облегченно - правильно давали совет, сейчас он уйдет. Скотина нагнул голову (набычился) и рванул на меня. Я уместился на его широкой башке, как маленький мячик и, как мячик, взлетел в небо. Перевернулся и благополучно приземлился. К нам двоим спешил третий: молодой, весь темно-красный бык поменьше безрогий, но с рогами по полметра. Я уже не рассуждал, а сиганул, перепрыгивая через лежащих коров, и понесся так, что не только бык, но и гепард не догнал бы.

Прощай, моя Белочка, моя коза. Сколько раз я доил тебя. Ты и в первую зиму, когда я не успел заготовить сена, и мы кормили тебя только картофельными очистками (мама чистила картошку - очистки не толще папиросной бумаги), - ты и в эту зиму 1942 года давала нам молоко. Как мы переживали, плакали, когда ты пропала. Думали, может тебя разорвали волки или голодные собаки, или увел какой-нибудь бродяга. Я искал тебя в степи между Шарыповым и русским селом (забыл его название), где моя сестра Лиля работала в колхозе. На третий день я нашел тебя, умницу. Ты загуляла с козлом - необходимое дело.

Прощай дорога до Кушнаренова. Сколько раз я прошел туда-обратно, сколько раз искал тебя, спрятавшуюся под снегом. В степи почти всегда дул ветер, сани проезжали редко, иной раз за все 22 км ни один не встретишь, машины ездили еще реже, и неглубокую колею быстро заносило снегом.

Прощай, дорога до Уфы, 40 км. Мы с мамой ходили туда к маминной сестре, моей любимой тете Нине. Туда 9 часов хода, а на следующий день, а иногда в этот же, если нельзя было переночевать, обратно. Я наизусть знал все твои повороты, кусты, деревья, дома на обочине.

Прощай, Кушнареново, я ухожу от тебя. Вот мы с мамой стоим у последнего твоего дома на окраине, и мама отламывает мне горбушку хлеба. Нет у меня ни одного светлого у тебе воспоминания. Даже девочку на гамаке не помню, как звали. Даже красивой большой рекой Белой, что протекала рядом, не полюбовался. Но хулить тебя - упаси Бог. Эта земля приютила нас в самые тяжелые годы. Исэн булыгыз, прощайте, Шарыпово и Кушнареново! - Татарча блясыма? - Юк.

Слепое время натывается на только что рожденное пространство, а дятел трещину коры наблюдает, как разлом вселенной.

На 2-3 курсе института я так бывал бесконечно счастлив, когда рисовал, что иногда мне было стыдно перед большинством людей, нехудожников - они же лишены этого самого

великого счастья. В 1954 году я проводил отпуск в поселке Рыбачий на восточном берегу Байкала. Эта огромная - почти на тысячу км в длину и почти на километр в глубину - впадина образовалась миллионы лет назад в результате дикой пляски земли в этом месте, когда праздновало какое-то важное «Втартарары». И то ли энергетические волны не успокоились в этом месте, то ли еще что, но как передать эту отрешенную, даже неземную красоту? Я сидел на берегу и писал акварелью мыс, заваленный каменными глыбами, спускавшимися в воду. Между камней росли березки. Когда волна с моря (местные жители называют Байкал только морем) набрасывалась на мыс, березки тряслись и сыпали в воду последние желтые листочки. В то время на Байкале не было туристов. Охотников и рыбаков можно было встретить очень редко. Я боялся медведей-шатунов, старых или больных зверей, не залегших на зиму. Меня предупредили, что час встречи с шатуном может быть последним. Вот почему я вздрогнул, услышав тяжелые шаги. Передо мной появились четверо парней, очевидно рыбаков. Они постояли минуту.

- Что, вид сымашь?

- Да, вот рисую.

- Ну и сколь же тебе заплатят?

Я смутился. - Ничего, я для себя.

Они посмотрели на меня с презрением и жалостью. Эти четверо, таких крепких, так уверенно шагающих по своей земле, делающих такую нужную для людей работу, навсегда отучили меня от угрызений совести и жалости к нехудожникам.

Падают капли дождя. Что значат их письмена? Что даже скорбь жизни - это жизнь?

В 1952-55 гг. я ходил на спектакли в Улан-Удэнский русский драмтеатр. Театр на отапливался. Зимой зрители сидели в шубах и шапках, артисты играли, как будто в зале было 20 градусов тепла. Сидя в первых рядах (только на эти ряды хватало зрителей), я видел пупырышки на обнаженных руках артисточек. От дыхания шел пар. И густо пахло неисправным туалетом. Для привлечения зрителей в буфете продавалось дефицитное тогда в городе пиво, а перед спектаклем и во время антракта играл духовой оркестр - зрители могли танцевать. Девушки (в основном под и за тридцать), стояли вдоль стен и ждали приглашения редких кавалеров. Сколько стояло их по всей России, молоденьких и постарше, с припудренными морщинками и первыми блестками в волосах. Двадцать миллионов мужчин война отправила в небытие, а их девушки стоят вдоль стен. Уже в 1970 году я прочитал в справочнике о Москве: в трети семей нет отцов. Разговор в очереди: женщина жалуется на сына - и пьет, и не помогает ей. Старушка-еврейка, маленькая, сгорбленная: «Если бы я так могла сказать о своем сыне. Он погиб зимой 1944. И у меня никого, кроме меня самой, не осталось». Очередь сочувственно помолчала, потом женщины заговорили о своих делах. Старушка, не обращая на них внимания, заговорила тихо, наверное часто говорила сама с собой. «И знаете, ночью снился сон: зимнее поле, наши солдаты бегут с автоматами на немцев. Мой сын останавливается, автомат падает, он наклоняется - сейчас рухнет, и я бегу к нему по снегу, кричу: не умирай, сынок! Но не добегаю. Через неделю получаю похоронку. Этот сон мне с тех пор все чаще снится. Может я сошла с ума, но мне кажется, что я еще живу, потому что надеюсь, когда-нибудь добегу до моего мальчика и не дам ему умереть».

«Жизнь - это сон, который снится Богу» (кажется, Камю). В конце лета 1944 года мы уехали из Башкирии. Ехать в Воронеж, разбитый до последнего кирпича (город переходил от нас к немцам и обратно дважды), маме с тремя иждивенцами не стоило. Мы оказались в сорока километрах от Москвы в поселке Отдых, на даче знакомой тети Нины. Мы жили вчетвером в двенадцатиметровой комнате, а когда родился мой племянник Гришенька, то впятером. Часть комнаты занимала печка. У мамы не было одеяла, она укрывалась пальто. Я спал на коротеньком деревянном толчане (его пришлось подпилить, чтобы он влез между стеной и печкой). Матраца не было. простыню стелили прямо на доски. Дом стоял на участке, поросшем соснами. Той осенью я еще не догадался рубить на щепу пни (а сначала и топора не было). Печку топили опавшей сосновой хвоей, запах ее дыма стал для меня символом новой жизни. И голода не было, по карточкам давали хлеб, картошка была, о чем можно было еще мечтать? Около хозяйской террасы росли кусты белой сирени. Когда выпадал первый снег, листья сирени были еще зелены, и лежащие на ветках комья сырого снега напоминали белые гроздьи.

Осенью уезжали дачники, приезжала тишина, тихое треньканье синиц, черно-белое соло сорок. Улицы с желтыми галунами опавших листьев убежали вместе с заборами вдаль. Ближе к краю деревьев, ближе к краю души, ближе к раю. Я иду через хлебное поле. Взлетают синие мотыльки и stanовятся небом.

Отец тяжело болел год. Он умер, я, девятилетний, не ощутил сильно горя. Только месяца через два, когда я увидел двух своих приятелей-близняшек на плечах их отца, я понял, что нет у меня отца и никогда не будет. И еще часто боль была меня. У моих приятелей-близняшек вскоре арестовали отца, директора Ветеринарного института. Его расстреляли как врага народа, отравителя колхозных животных. Мне было жалко двойняшек, как себя. В году 50-м случайно в чуланчике, где бабушка хранил хлам, я нашел простыню, рваную тужурку отца. Среди нескольких вещей, взятых мамой в эвакуацию и из эвакуации, была и эта тужурка. Я взял ее в руки, погрузил в нее лицо. Как странно, папа умер уже одиннадцать лет назад, целая вечность прошла - война, послевоенные первые тяжелые годы, а запах остался, как будто я вновь обнимаю папу за шею или сижу у него на коленях.

Как-то в Куны-Ургенче я наблюдал: туркмен ехал верхом на ослике. Перед мостиком через арык осел остановился, и сколько хозяин его ни хлестал - по заду, животу, по морде - не сдвинулся. Туркмен слез и стал толкать свою скотину сзади. Осел продвинулся на полшага. Тогда туркмен встал перед осликом, поднял его передние ноги и, пятясь, медленно перетаскивал его на другой берег арыка. «Любое настроение, более того, любой миг бесконечно дорог, ибо он посланец вечности». (Гете).

Какое странное, непонятное понятие - «время». Однажды зимним вечером я очутился на маленькой станции, километрах в 120 от Москвы. Посмотрел расписание: электричка через полтора часа. Платформа пустая, темно, холодно. Я ходил и ходил по платформе, посмотрел на часы - прошло десять минут. Время шло, как ослик через арык. Я сел на промерзшую скамью, запахнулся в пальто, задремал. Слышу шум, подходит электричка. Наконец-то! Обрадованный вскакиваю и не верю глазам - двери закрываются, электричка уходит. Следующая через три часа. В тот Новый год (как и во все остальные) я подумал: как же быстро прошел год, ведь совсем недавно отмечали предыдущий. Да, но ведь в этом году я прождал однажды четыре с половиной часа электричку, и эти несколько часов мне кажутся длиннее незаметно промелькнувшего года. И целая жизнь промелькнула, не успев вперед посмотреть, а отдельный период вспомнишь - какой долгий! Я читал статью знаменитого физика, где он доказывал, что вечность и мгновение переходят друг в друга. Не миллион или миллиард лет (что они по сравнению с вечностью), а именно мгновение равноценно вечности. Я думаю, может быть в мгновении между жизнью и смертью человеческая душа и живет вечно?

Мама умерла летом 1981 года. Она, как и отец, тяжело и долго болела. Была жара. Мы с Гришей наняли легковую машину (другую не смогли достать), сели на заднее сиденье, маму посадили между собой. Мамина голова падала то на мое плечо, то на гришино. В морге все столы были заняты. Пришлось мамино тело положить на пол. Моя бедная мама. Какая тяжелая была у тебя жизнь, какая тяжелая смерть.

Равнины, равнины, равнины, родительный будет «равнин». Как выйду на площадь с повинной, мне встретится поп иль равнин. И каяться буду, и плакать, и голый, в чем мать родила, ведь мне уготована плаха, а смерть мне совсем не мила. Как дательный будет - «равнинам»? И скажет равнин мне иль поп:

«С чего бы такой ты ранимый?»

Послушай-ка музыку-поп!

Ведь жизнь, как судьба, самоценна, бежит, как вода, под уклон.

Москва или, может быть, Вена - смотри ты под этим углом».

Вода протекла вся на плоскость

и больше уже не течет,

а тела холодная воспохость

для жизни вовсе не в счет.

И нет уж служителя Бога,

за плоскостью плоскость видна,
и лег на равнины я боком,
чтоб выпить равнинность до дна.
Предложный же будет «равнинах»,
ни холмика нет, ни бугра
на этих, на солнце палимых
от вечера и до утра.

Верно, в старости один только недостаток - она кончается. Но мне отвратительна стариковская шея, как у оципанного гуся. Кожа усыхает, но почему ее так много - мешок в складках под подбородком. Как тяжело, что родным придется возиться с твоим тяжелым бездушным телом (и зачем цветы?). Хорошо бы оно аннигилировало. Ну посмотрели бы родные пять минут, а потом оно сразу испарилось, и ни огню, ни червям не досталось. Может быть, когда-нибудь для желающих так и будет.

Если есть где-то во Вселенной главная ее ось, то она непременно проходила (может быть и проходит?) и через Проспект Революции в Воронеже. От Каменного моста в Воронеже узенькая улица с одноэтажными домишками спускалась к реке Воронеж. В детстве этот мост был для меня центром Земли. Под его сводами собирались мальчишки и шести-семилетние, и совсем большие, двенадцати-тринадцатилетние, знающие всякие тайны. Около моста были магазины. В один из них - хлебный - я ходил каждый день. Отстояв очередь, покупал хлеб черный, белый или пеклеванный. Хлеб везали, можно было купить сто грамм, можно два килограмма, сколько нужно. Недалеко от моста пролегал Проспект Революции - главная магистраль Воронежа и всей Вселенной. По проспекту звенели трамваи. Днем они ходили до СХИ - сельскохозяйственного института, а ночью ездили по небу, и электрические искры становились звездами. Трамваи были покрашены в красный цвет - цвет революции. Там, где на небе были люди, водители трамваев агитировали этих людей за коммунизм - рай для всего человечества. Но если считать, что ад внизу, то он был для меня несравненно интереснее: лететь из-под Каменного моста вниз на санках - восторженно и дух захватывающе. Воронеж, Графская, Камышин, давно уж голос ваш не слышен, а корни дуба поперек тропинок, как острый окрик в спину.

Летом мама снимала для нас дачу - комнату с террасой - в Графской, под Воронежем. Ехали туда поездом. Я сидел у открытого окна. Пахло кисловатым паровозным дымом, смешанным с запахом цветов. В Графской - дубовый лес, сосновый, смешанный. С тех пор я люблю деревья почти как людей. Самое удивительное дерево - дуб. Самое, самое - осина. Самое красивое - береза. Только она напоминает людям время от времени, что такое белый цвет, в котором слились все три цвета природы. Самое стройное, структурно организованное дерево - ель. Самое любимое - сосна. Я обожаю маленькие пушистые сосенки, я люблю корабельный лес, но особенно сосны на открытом месте - на опушке, поляне, на берегу реки. Отдельные ветви у них почти такой же толщины, как ствол, прихотливые, как человеческие желанья и цвета тела. В свободных объятиях ее ветвей и неба - неведомая людям формула вечности.

В Графской, если рано-рано выйти на улицу, исчезающую в тумане, то встретишь стадо. И запах утра - запах парного молока, травы, дубов, сосен, сырого тумана, проливанного первыми лучами солнца - войдет в тебя на всю жизнь. И бронзовые жуки, бабочки, клевер-кашка, и мягкое «л» рассыпанных по траве лютиков. И дорога на маленькое Грязное озеро с коричневой торфяной водой, и большое Чистое озеро, и лесные тропинки, прошитые поперек грубыми стежками корней.

Я любил станцию Графская. Мы с сестрой почти каждый день приходили к вечернему поезду встречать маму. Мне интересно было смотреть на паровозы, вагоны, считать вагоны в проходящих товарных поездах. Я и не догадывался, что совсем скоро мне придется быть в паровозно-вагонном мире совсем не сторонним наблюдателем. Одуванчики, как гвозди с золотыми шляпками, прибавляют траву к земле. Люди восхищаются грандиозными явлениями природы - восходом солнца, водопадом, панорамой гор и не обращают внимания на грязную, в лужах от дождя дорогу возле станционного разъезда, уходящую в поле. Цветущий подорожник для меня такое же грандиозное явление, как Ниагарский водопад. Я помню, когда мне было лет пять, мы с Колькой пошли от центра мира - Каменного моста - вниз к реке Воронеж. Мы забрались в лодку и оттолкнули ее. Лодка была посажена, как собака, на цепь. Цепь была длинной, и

нас отнесло чуть ли не на середину реки. Сначала мы были в восторге, но потом надоело быть матросами, мы пытались подтянуть цепь. Но то ли течение было сильное, то ли лодке не хотелось лежать на берегу, у нас ничего не получилось. Было начало мая, вода холодная, да и плавать мы не умели. На берегу никого. Присидев еще сколько-то времени в лодке, мы дружно заревели. Какой-то мужчина услышал наш плач и подтянул лодку. На обратном пути меня поразила ярко-желтая земля, не земля, ее не было видно: впритык друг к другу росли одуванчики. Почему-то до этого дня я не обращал на них внимания. С тех пор я каждый май радуюсь их приходу, как празднику. Я люблю их запах, удивляюсь их умению украсить любое незастроенное место в городе. Это наверно единственный цветок, который, кончив цвести, остается не менее красивым. Сколько раз я изумлялся: у северной стены дома ярко-желтый праздник, у южной - невесомые, вот-вот взлетят, белые шарики. На лестнице к моей мастерской в узеньком шве между бетонными блоками каждый май расцветали одуванчики. И перед лестницей, пробив асфальт, как в сказке, они встречали меня. Я поднимался по лестнице осторожно, чтобы не задеть их. Несколькими годами назад у меня появился новый сосед по мастерской, живописец. Однажды подхожу к лестнице, вижу он на четвереньках старательно что-то выковыривает ножом. Не верю глазам: на асфальте нет ни одного цветка и на лестнице тоже. «Господи, что ты делаешь!» - «Лева, вон вокруг этих сорняков сколько. Всю лестницу заадили». Потом посмотрел на мое лицо. - «Ладно, не переживай, новые вырастут». Прошло уж несколько весен, ни один одуванчик не украсил бетонные ступени и асфальт. За тайной - обыденность, за обыденностью - тайна, за тайной - тайна.

Не было ни земли, ни неба. Сверху песок, снизу песок, с четырех сторон песок. Я закрыл лицо рубашкой, но все равно сероватый, мелкий, почти как пыль, каракумский песок запеленал, заполнил меня, забил глаза, уши, нос. Другие рабочие стояли рядом, похожие на песчаные столбы. Палатку сдуло, как бумажку. Ее нашли на второй день за много километров от лагеря. К ночи ветер стих. Руины Куня-Уаза («Древний голос») за несколько сотен лет привыкли к бурям, но раскопанное городище надо было снова расчищать. В центре городища находилось захоронение - скелеты лежали в одной позе на боку. У одного скелета была железная рука. Неужели она действовала? Может быть, ему заменили отрубленную, чтобы соблюсти ритуал. Рука была с сочленениями, с железными пальцами, железо темное, но не ржавое. Один раз я ходил на городище ночью. Текущие, сглаженные песком остатки глинобитных башен и стен, четырехугольное городище с лежащими на боку скелетами, железная жутковатая рука - все это освещалось вечно круглой луной.

Основной лагерь археологической экспедиции 1952 г. находился в Куня-Ургенче. Вечера с ослиными захлебывающимся ревом и нежным пением горлинок, глинобитные заборы, плоскокрышие домики, загадочные какие-то вздохи в сумерках, собачий лай звучит, как фантастическая музыка, мелькнувшая человеческая фигура - то ли из «сейчас», то ли из далекого прошлого или будущего. Утром - деревья, арками нависшие над арыками, минареты в орнаментах, как на ножках клинков, мавзолеи, неотъемлемые от песков, синего утреннего и раскаленного белесоватого дневного неба. Я ходил днем по Куня-Ургенчу, и пить хотелось. Туркмены наклонялись к арыку, зачерпывали ладонью густую глинистую воду и пили. Как ее можно пить? Но жажда меня домучила. «Чем я лучше этих людей - они же не брезгают». Я опустился на четвереньки перед арыком и, как туркмены, напил из ладони. На следующий день полторка повезла меня и еще несколько парней в Куня-Уаз. Машина петляла между барханами, часто буксовала. Мы вылезали из кузова, «табанили» - подкладывали жерди под колеса, толкали машину сзади. У меня раскалывалась голова, думал, от солнца, тряски, выхлопных газов. Когда остановились на обед, я ничего есть не мог, пошел по нужде за барханы и понял, какую водичку для меня, непривычного к ней, я вчера попил из арыка. По прибытии в лагерь я ничего не сказал о своей болезни - меня бы отправили обратно. Недели две, днем и ночью, я часто бежал за барханы. Хорошо мама дала мне с собой, как чувствовала, целый пакет с пилюлями от живота, они помогли мне более или менее справиться со злой дизентерией. Во время забарханных отсидок я близко познакомился с обитателями пустыни. Маленькие вараны меня не боялись, а большие шипели, заворачивали в спираль и разворачивали хвост и

пытались укутить. Желтые змеи почти не различимы на песке - просто струйки песка текла по песку. На темных змеях вдоль спины тянулся орнаментальный узор. Туркмения - страна орнамента. Им украшены ковры, утварь, одежда. Ошеломляющие орнаменты на стенах мавзолеев и медресе, на воротах и минаретах. И сама пустыня - орнамент бархан, одинаково смоделированных ветром. И у каждого бархана слегка дымится песком вершина. И каждый украшен поперечными волнистыми полосками.

Вечерами я бродил около лагеря. На такыре, глинистой, в трещинах земле между барханами, поблескивали в свете луны или звезд бактрийские медные или, редко, золотые монеты, обломки керамики, украшенной орнаментом - воспоминание о цельном предмете, о цельном мироздании. И орнамент на мавзолеях, мечетях, как символ повторности, лабиринтной сложности и в то же время простоты, управляемой законами жизни.

Коротенький вечер в пустыне - награда за дневной лютый жар. Днем можно было бросить, не выходя из палатки, яйца в песок, и через десять минут они становились крутыми. Вечером жара пряталась до утра в песок, воздух - как на горных вершинах и горная тишина. Тонкие, длинные ветви саксаула вздрагивали от почти неощутимого ветра. Небо чернело, и сразу становилось холодным, около нуля. Спали мы в теплых ватных спальниках, кто в палатке, кто на такыре. Я всегда вытаскивал спальник из палатки. Прежде, чем заснуть, я всегда смотрел на совсем близкие, яркие, тяжелые звезды, на пылающий холодный жаром млечный путь. Звезды ушли из нашей жизни. Для людей античности, средневековья они обязательно входили в обиход жизни. Вергилий и Данте в своих книгах не назовут время года и даже время суток. Напишут: такая-то звезда или созвездие находится в такой-то точке небосвода.

Где сейчас, в какой точке те каракумские звезды.

«... Это был очень хороший город. Там не было ни волков, ни хулиганов, ни пьяных. там никого злых нет. Там слоны, зайчики и добрые лисицы. И там, если упадешь, то обязательно на траву или цветы.

Улица перевернулась. дома и люди оказались на небе, а небо оказалось внизу» (из сказки).

«Дитя, али не разумеешь, яко всяка сия внешняя блядь ничто же суть, но токмо прелесть и тля и пагуба» (протопоп Аваакум).

В Усть-Илимске, где мы с Гришей работали летом 1972 года, не было слонов, зайчиков и добрых лисиц. И улицы, как в сказке, не перевертывались. Только Ангару всю перевернули. Вагончик, в котором мы жили, стоял на вершине небольшой сопки, рядом с дорогой. Не знаю, зачем его туда поместили. По дороге днем и ночью с интервалом в несколько минут шли сорокаторные МАЗы с цементом. Поднимаясь на сопку, они ревели, как самолеты перед стартом, и железный наш раскаленный от дневной жары дом-вагончик трясся. Рано утром машина везла рабочих, и нас в том числе, через весь город, потом через Ангару по нижнему бьефу плотины (справа видны были еще не затопленные тогда острова «Лосята»). На том берегу мы выгружались. Я с Гришей нес электрромагнитный прибор для геологоразведки. Сначала мы шли вдоль строящейся колеи железной дороги. Прибор здесь нести было нетрудно, он весил не более сорока килограмм, несли его, как носилки, за ручки. Потом сворачивали в тайгу. До участка, где делали замеры, было километров пять - семь. В то лето была жара, как в Кара-Кумах. Одеты мы были в брезентовые куртки и штаны, сапоги, толстые перчатки. На голове накомарник. Интересно было смотреть на спины впереди идущих. Мокрые от пота, они быстро покрывались толстым слоем комаров, оводов, мух, мошки - шевелящимся, жужжащим, копошившимся. Когда, задыхаясь, я сдерживал на минуту накомарник, эта разбойничья компания облепляла лицо. Проведешь по лицу рукавицей - и она красная. Техник Володя, наш начальник, и его помощники, Сергей и Николай, шли быстро, легко перепрыгивая через поваленные деревья и выбираваясь из ям и завалов. Нам с Гришей приходилось нелегко. Надо было то поднимать прибор - поваленные деревья на каждом шагу, то мы ухали с ним в незаметные ямы или проваливались в трухлявые стволы. Я приходил на место чуть живой, а работа только начиналась. Мы опускали прибор на землю, брали штыри с прикрепленным к ним проводом и по команде бежали в противоположные стороны метров на 100-200. Останавливались, втыкали штыри в землю. Володя включал прибор, снимал показания и кричал: «Дальше!» Мы бегом возвращались, относили прибор на новое место, и снова и снова

«Дальше!» Так до вечера, а потом 5-7 км тайги. И даже путь вдоль колеи до плотины, где ждала машина, был тяжек. А в Усть-Илимске раскаленный, трясающийся вагончик. Вечером ребята обычно жарили собачатину. Они в потемках подманивали собаку, убивали ее, подвешивали на кол, сдирали шкуру и зажаривали, не снимая с кола, бензиновой горелкой. Потом полночи пили водку, заедая жарким. Я плохо спал - так и не привык к МАЗам и запаху горелого собачьего жира. Какие уж тут добрые лисицы! Правда, один добрый зверек жил в вагончике - бурундучок. Он был очень доверчивый. Техник Володя увидел его в тайге на дереве, взял длинную палку, на конце ее приделал петлю и потихоньку приблизил ее к бурундуку. Зверек смотрел: а что дальше?. А дальше петля оказалась на шее, а зверек в володькиных руках, а потом в вагончике. Хорошо, что маленький, с белочку, а то бы наши молодцы зажарили его на бензиновой горелке. Они были обычные люди, двое кончили техникум, а Сергей собирался на биофак Московского университета. Наверное, все может выдержать человек, если у него хорошее настроение. У меня его не было, и через месяц я сломался. Жара в тот день была особенно беспощадная, в тайге не то что ветерка, казался воздуха не было. Приятный обычно запах базальника казался удушающим, мошка пролезала в накомарник, и пить хотелось. Я повторял про себя «боржом», «нарзан», и «рж» и «рз» пузырились, журчали, текли. Но звуками не утолишь жажду. Когда мы вышли из тайги, руки еще несли 20 кг, но ноги совсем не шли. Володя и его помощники были уверены, что евреи могут только торговать и командовать, а работать не умеют. Да еще от собачины нос воротят. И не пьют (когда я один раз вечером пошел рисовать, вернулся, смотрю, они поят Гришу водкой. Я схватил топор и заорал: еще раз увижу, зарублю. Я орал так искренне, что больше они моего 16-летнего Гришку не поили). Я заставил себя дойти до машины. В вагончике я повалился на кровать, и тут случилось: мои ноги, независимо от меня, сжимались и разжимались. Я повернулся на бок, чтобы не так заметно было. Я их гладил, массировал, не помогало. Всю ночь я не спал. Я сознавал, что утром не смогу выйти на работу. И совершенно точно знал, что не позволю себе не выйти. Меня мог спасти только дождь. В дождь наш электроволновой прибор давал неверные показания, и работа отменялась. То лето было абсолютно засушливым. Усть-Илимск был затянута дымом от горящих лесов (вокруг Москвы в то лето горели высохшие торфяные болота). Иногда случается чудо: утром пошел дождь и шел, с перерывами трое суток.

Солнце, море, а рядом полосатое небо.

В начале семидесятых я был на Солнечном берегу в Болгарии. Сколько солнца! Даже ночью его отсветы не исчезают. Морской горизонт - единственная горизонталь. Все пляжи похожи: беззаботность, праздность и празднество. На нудистском пляже, на горячем песке мужчины и женщины. Все их тела, без утайки, должно облизать солнце. Отели, отели, тела, тела. Бары, дискотеки, исвободаипарусаимузыкаимореивиноирадость и еще и еще море и солнце. Вечером, прямо у моря, играет джаз, люди танцуют босиком на теплом песке, кто в джинсах - джаз ведь, кто в плавках или купальниках, отдельно нудисты в одном загаре. Вспыхивают и гаснут под звуки джаза - аз емь - желтые, синие, оранжевые прожектора. Ночью я иду вдоль моря. У самой кромки Адам лежит на Еве, и волна, как одеяло с белой кружевной бахромой, а такт движениям накрывает их ноги.

Море ромовое, горе горькое.

В начале семидесятых, когда была очередная арабско-израильская война, пропал Гриша. Трое суток сестра, мама и я не спали, прислушиваясь к каждому шороху. Потом я звонил в больницы и, с ужасом, в морги. Потом неделю с утра до вечера ходил по московским вокзалам и улицам, понимая, что это все равно, что искать иголку в поле. Но это было легче, чем сидеть дома и ждать. Через две недели (не могли раньше, сволочи, сообщить) пришла открытка из психушки близ Егорьевска. Гришу поместили туда. Его за что-то задержал милиционер. При обыске у него нашли заявление с просьбой отпустить в Израиль. Его отпустили в психушку. Когда я добился аудиенции у главврача и спросил у него, за что Гришу поместили в это заведение, он ответил: разве может советский юноша, если он нормальный, хотеть уехать в Израиль. Я навещал Гришу довольно часто. Надо было ехать с пересадками до Егорьевска, потом ждать автобус и ехать в нем, маленьком, набитом людьми, долго. Выходишь в поле, и надо по

грязи, по лужам идти к одиноко стоящему тяжелому, зашарпанному, мрачному - казалось никогда на него не светило солнце, грязному двухэтажному дому. И дождь льется на грязное, пижамное небо. По дороге идет группа психически неполноценных детей с надсмотрщиком. Дети в рваных ботинках, в ватниках. Лица с потухшими глазами опущены к серому дефективному небу. Женщина, ехавшая со мной в автобусе, бросается к мальчику, очевидно сыну, обнимает его, плачет. И все решено, и все зарешечено. Автобус уходит обратно, и вслед ему ветер несет крик, желтый и осенний.

Ты ли это, Аргус? Далеко от Москвы, еще подальше. На шестые сутки поезд привез меня в Улан-Удэ. Непривычный мороз на улице. Ни обещанной в Москве зарплаты в 1200 р. (120 р после хрущевской реформы), ни квартиры, ни даже комнаты меня не ждало. Зарплата 600 (60) р. Койку я снял в день приезда за 100 р. в месяц (еще 100 р. в месяц у меня вычитали - налог за бездетность). Изба, где я снял койку, была за рекой Удой, на Подкаменной улице. Я оставил там свой чемодан и пошел смотреть город. Зашел в краеведческий музей - до сих пор обожаю ходить в такие музеи. Чучела зверей, портреты декабристов и революционеров, несколько плохих картин, дремлющая старушка-смотритель и особая, крепко настоявшая тишина. Я прошелся по улице Каландарашвили, где в нескольких комнатках второго этажа двухэтажного деревянного дома расположилось Бурят-Монгольское книжное издательство. Дошел до реки Селенги, огромной, вздыбленной торосами. С быстрым течением не сразу справился мороз, река замерзала, прорывала наледи, снова замерзала. И когда, наконец, мороз придушил ее, она вся покрылась морозоборческими скульптурами. Я полюбовался их яростной выразительностью и заметил, что уже темнеет. Поспешил за Уду, дошел до Подкаменной улицы. Она поднималась на сопку, по обеим сторонам крыши изб за высокими заборами. Розовый снег узкой улицы обрывался на вершине сопки, упираясь в темно-синее звездное небо - «поднебесная улица». В полутьме все деревянные заборы и крыши казались одинаковыми, я только помнил, что дом на правой стороне. Я прошел до конца улицы, до неба, повернул назад. Я замерз в московской одежке, постучал в одни ворота, другие, только лай собак. Перелез через забор, за которым не залаяла собака, очутился дома. Койка моя подушкой упиралась в окошко, ногами - в клетку с курами (кур в Улан-Удэ держали только в домах, в сараях они замерзали). Петух начинал кричать часа в три ночи. Первые ночи я просыпался и лежал до утра, слушая мощный хрип хозяина, delicate мышиные шорохи и куриные всхлипы. Хозяин, одиозный дядя Артем и хозяйка тетя Катя были семейские, потомки высланных сюда, кажется при Екатерине II, староверов. Великие обычаи предков - не употреблять вина и табака - они позабыли. Я сначала думал, мои хозяева пьют с горя - у них не было детей, но у соседки Ульяны было девять детишек. И ходила брюхатой. Пила она, как сама говорила, литр в день. Тетя Катя, поднимая стакан, всегда говорила: ну, будем здоровы! После попойки болела несколько дней, потом, когда появилась денюга, опять «ну, будем здоровы!» Иногда к хозяевам заходил выпить Булдансанжи. Он учился в высшей партийной школе Улан-удэ, пить в общежитии при школе, где он жил, было неудобно. На свое несчастье он выиграл на облигацию 12,5 тысяч. Деньги по тем временам очень большие. Он пришел к моим хозяевам отметить это счастье. Вся Подкаменная - поднебесная улица гуляла. Весь домишко был набит семейскими, несемейскими, бурятами. Я оставался после работы в издательстве, спал на своем столе. Через месяц мне дали знать, что гуляба кончилась. Я пришел домой. На табуретке сидел понурый дядя Артем. Его пристяжная деревянная нога, расколота надвое, валялась на полу. На кровати громко стонала тетя Катя. Булдансанжи подошел ко мне. «Лева, дай три рубля, хлеба купить, дети голодные». Пятеро мальчишек, голожопые, кроме одного старшего, стояли вокруг матери. «Эх ты, бедная, что же ты поздно приехала», - подумал я. Семья Булдансанжи жила в далеком аймаке, и пока жене сказали о сказочном счастье мужа, пока она доехала... Нестерпимо пахло алкогальной кислятиной и блевотиной. Я подошел к своей кровати, стал отбирать подушку от стены под окошком. Она примерзала каждое утро, но за месяц так примерзла, что я отодрал ее только с половиной наволочки. Ночь в призрачных снах и тяжелый, как кирпич, крик петуха. Ночь, прерванная криком петуха, ночь, прерванная криком петуха, ночь, вытекая в крик петуха, ночь наизнанку.

Вскоре после месячной пьянки на Подкаменной я перебрался на другую квартиру. Вместе с литературным редактором Михаилом Перельманом мы сняли маленькую - едва поместились две кровати - комнатку недалеко от издательства. Здесь тоже были куры. Миша, фронтовик, хромающий на раненную ногу, был еще ранен в голову и контужен. Он плохо спал, а после первого крика петуха не спал совсем. У него «раскалывалась» голова, он не мог работать. Петуха Перельман возненавидел люто. «Я убью эту скотину». «Миша, скотина не виноват, такая его порода. Ну, убьешь ты его, хозяйка другого заведет». Когда не было хозяйки, Михаил, чтобы отвести душу, иногда шпынял петуха прутом.

Как-то в мае утром мы вышли из дома. От двери до калитки в высоком заборе было метров десять. Перельман шел впереди, я за ним. Когда он открывал калитку, на его зеленых галифе я увидел клокочущего белого петуха. Перельмановы единственные штаны были расплосованы, как и перельманова под штанами. Петух объявил войну и принимал боевую позу: голова опущена, крылья растопырены - и стремительно бежал на врага. Без палки до уборной и до калитки дойти было нельзя. Добежав до человека, петух взлетал, стараясь клюнуть в глаза. Сила и злоба у него была, как не у всякой сторожевой собаки. Я отмахивался палкой, стараясь не подпустить его, не ударить сильно. Но для Михаила сражение с петухом было удовольствием. Я умолял его: только не бей по голове. После сражения петух, помятый, побитый, обязательно взлетал на забор, отряхивался и кукарекал: «Я победил!» Однажды после работы, подходя к своей калитке, мы услышали странные визгливые вопли своей хозяйки. В щель от забора была видна уборная, перед ней в боевой позе - ноги широко расставлены, голова наклонена к земле, крылья слегка растопырены - стоял петух. И как только дверь уборной приоткрывалась и показывалась голова хозяйки, он шел в атаку. Бедная женщина захлопывала дверь перед его клювом и извергала ругательства, самые слабые из которых «сволочь, гадина, пидорас», и обещание отрубить голову. «А пидорас-то совсем не по адресу», - сказал Миша. Мы не очень любили свою хозяйку, мы пошли погулять. Через полчаса вернулись, все оставалось статус-кво, только голос хозяйки охрип, и вхохотали громко куры, недовольные очевидно тем, что петух так долго не обращает на них внимания. Через несколько дней хозяйка выполнила свое обещание. Я очень жалел петуха, Миша, по моему, еще больше.

«Прошлое живет в настоящем». (Джон Коллингвуд). Когда-то я проходил мимо Манежа и увидел на нем афишу выставки «Польское изобразительное искусство». Я зашел. Скучая прошел по залам. В самом конце была небольшая выставка фотографий. Одна из них потрясла меня. Фото 1943 или 1944 года: еврейские детишки от 5 до примерно 14 лет смотрели на меня из-за колючей проволоки. Кто с мольбой, кто с ужасом и отчаянием, одна девочка - гордо. Сколько им осталось жить до газовой камеры - может быть, несколько дней, может быть, час. В 1943 году мне было столько же лет, сколько им. Их давно нет, а я чем их лучше? - живу. Они смотрели на меня: помоги! Я знал, что немцы уничтожили 6 миллионов европейских евреев - целый народ со своей многовековой культурой, народ, так много сделавший для культуры и цивилизации Европы. Я знал, что тридцать тысяч еврейских детишек Варшавы, в том числе дети дома сирот Януша Корчака, украинские полицаи по приказу немцев отправили в газовые камеры. Это непреодолимая боль, но «абстрактная». Когда погибает человек, которого ты знал, ты переживаешь больше, чем за 25 тысяч погибших где-то от землетрясения или еще от чего-то. Так устроены люди. Но здесь на меня смотрели совершенно конкретные дети, смотрели из прошлого, но смотрели сейчас и продолжают смотреть. И вечно меня будут жечь слова еврейской девочки из Варшавского гетто. Ее спросили: «Кем ты хочешь быть?» - «Собакой». - «Но почему?» - «Немцы собак не убивают». Из дневника эсэсовца: евреев расстреливали у рва. Когда ров наполнился телами, оставшимся живым приказали лечь на мертвых лицом вниз, так легче стрелять в затылок. И маленькая девочка спросила у распоряжавшегося: «Дяденька, я правильно легла?»

Волны знались друг за дружкой, но нрав у них беспощадный. Мне пригрязилась буря,

мне пригрозились тишь.

На Байкале я жил в поселке Рыбачьем у хозяев - старика и старухи, не помню их имен. Не было у них детей, как у дяди Артема и тети Кати, или дети разъехались, но хозяева жили одни. Непогода пришла в гости в Рыбачий и загостилась. Целую неделю ветер с ливнем. Небо стало черным днем и море черным со светлыми макушками волн. У хозяина гибли сети, расставленные в Байкале. Тогда не было капроновых сетей, хлопчатобумажные больше недели в воде не выдерживали, загнивали, рвались. Рыба - главное средство существования жителей Рыбачьего. За время, что я жил у стариков, я не видел у них ни хлеба, ни мяса, ни молока. Только рыба, картошка, лесные ягоды и кедровые орехи. Из жиров - только рыбий жир. Потерять сети - катастрофа. Старик уговаривал жену поплыть с ним, как обычно. Лодка большая, четырехвесельная, одному не справиться. «Ты дуралей старый, прости меня, Господи, голова-то между ногами всю жизнь болталась, хошь подыхать - подыхай, а меня не тащи. Говорили тебе, погода портится. Все посымали сети, окромя тебя, дурака». Старик пошел по соседям. Пришел хмурый, никто, очевидно, не согласился помочь. «Возьмите меня». Он посмотрел на меня с удивлением, помолчал. «Грести умеешь?» Я один раз сидел на веслах на Кратовском озере под Москвой. Чего там уметь: погружай весла в воду и отталкивайся. - «Умею». - «А голова не кружится?» С головой было хуже. Я вальс боялся танцевать и из-за этой головы, легко впадающей в кружение, никогда не качался на качелях. - «Нет, не кружится».

Мы долго пытались сдвинуть тяжелую лодку, скорее баркас, в воду. Волны зашвыривали ее обратно на берег. Наконец удалось. Лодка проваливалась в бездну, поднималась, кренясь на один бок, на другой. Я один раз греб, другой только одним веслом. потом обоими махал в воздухе. Несколько раз волна накрывала лодку, старик бросался вычерпывать воду. И страх: зачем навязался в напарники. Старик пошел, ему не страшно погибать. Ледяные волны промочили насквозь, но не было холодно. я бешено греб и, странно, голова не кружилась. Километра два-три мы проплыли до места, где были сети. То ли вдаль от берега волны поменьше, то ли шторм ослаб, но стало спокойней. Старик выбирал сеть, выбрасывая в воду мертвых, негнущихся омулей, я складывал сеть на дно лодки. Обратно плыть было легче. Как я был рад, когда мы со стариком вошли в дом!

Мне от жизни лучший дар
кузов машины тряский.
Высоко в небе звезда
да

в руках краски.

Рисовал я с жадным восторгом. Люди - буряты, русские, звенки, старик-кореец в большом селе Богдарино на реке Витим. Он, одинокий, работал истопником в школе. Как его туда занесло? Молодой цыган, председатель колхоза. Старушка крестьянка, почти слепая, переживающая от того, что не может читать Толстого. Очаровательные малыши - буряты и звенки. И еще интереснейшие люди, Витим, где наша машина несколько раз проваливалась в наледи. Сверкающий днем снег. северные олени. Ночью в Богдарино все сизо и зыбко. а лиственницы на вершине сопки на фоне восходящей луны черные, четкие. На дворе каждого дома две горы. Одна из золотого льда - так здесь заготавливают воду на зиму. другая из пустых бутылок из-под спирта. Мороз - днем сорок, ночью - пятьдесят. Дорог не было, и полуторка ехала со скоростью быстро идущего человека. Замерзшие болота чуть присыпаны снегом. Машина петляла между редкими невысокими лиственницами. Я напросился в эту поездку, и для меня нашлось место только в кузове. В кузове еще были две бочки с бензином, подпрыгивающие вместе с машиной и гремящие морозный воздух бензиновыми парами. На мне был одолженный волчий тулуп, меховая шапка, валенки, теплые рукавицы - я не мерз. Часа три светило солнце, потом появлялись ранние звезды. Если до ночи не успевали доехать до селения, останавливались в каком-нибудь охотничьем домике или звенкийском чуме. Шофер хорошо знал эти места. В одном селе мы остановились на ночлег в избе директора местной школы. друга руководителя нашей поездки. Директора на было дома. Нас радушно встретила его жена, милая и очень красивая блондинка. Она пять лет назад кончила Московский пединститут и по распределению приехала работать сюда. Она рассказывала и вспоминала меня о своей Москве, о театрах, Третьяковке, о новых книгах. Ушла доить корову, пришла

и снова спрашивала. Около нее стояли двое маленьких детишек, еще один спал в подвесной люльке. Все трое вылитые буряты, не скажешь, что от этой мамы - светло-волосой и голубоглазой. В избе слабо горела керосиновая лампа, и, когда распахнулась дверь, я подумал от порыва ветра. Но жена директора вдруг закрыла лицо руками и убежала. В полутьме я увидел огромного зверя, потом, приглядевшись, понял, что это человек на четвереньках. Это был директор школы. Наш руководитель говорил ему что-то по-бурятски. Директор отвечал, не поднимаясь, по-русски: убирайтесь все вон, поубиваю.

Заманчивая это напасть - пьянство - тогда, в 50-х, ходила и среди бурят, и среди русских, но особенно косила она звенков. Их сплюли русские купцы совсем недавно, в XIX веке, не было у них хотя бы малой генетической защиты. Я, помню, ходил по стойбищу, из чумов слышалось то ли бормотание, то ли пение. На снегу сидели, раскачиваясь, совершенно пьяные старухи. Мужчины пьяные и, что страшно, дети пьяные. А народ замечательный. И бурят-монголы - талантливый, красивый народ.

Сейчас есть теория, объясняющая появление кроманьонцев - современных людей - употреблением наркотиков нашими праотцами. Якобы наркотиком раздвинули сознание, развили воображение человека. Неужели они и убьют его? Даже у насекомых, муравьев, например, есть свой наркотик. Маленький жучок заползает в муравейник, выделяет капельку жидкости, к которой муравьи падки, как кошки к валерьянке. Скоро муравьи забывают о своих обязанностях, кормят только этих жучков, и в год-два муравейник вымирает. Меня интересовала эта проблема - не в социальном плане, в котором она решается, а в глубинном, может быть, на уровне второго закона термодинамики. Человек утомляется своим разумом и стремится назад. Как тепло стремится к холоду.

Когда мне надо было возвращаться в Улан-Удэ, на работу в издательство, я чуть не плакал, так не хотел расставаться с этими местами. В большом селе, не помню его названия, я нашел грузовик, отправляющийся вечером в Читу. Я попросил довезти меня. Шофер не согласился: в кабине места нет, в кузове замерзнешь. Я убеждал его: я уже полтора месяца езжу в кузове. Шофер согласился, но я не учел, что кузов загружен доверху, а дорога - не замерзшее болото, а асфальтовое шоссе, где скорость под 90 км. Через несколько часов езды у меня было ощущение, что на мне нет ни волчьего тулупа, ни даже белья. Когда под утро машина остановилась у придорожной харчевни, шофер крикнул: слезай! Я не мог пошевеливаться. Шофер с напарником сняли меня и внесли, как бревно, в тепло. Напоили горячим чаем, я отошел и уже сам залез в кузов. Утром мороз упал до 40 градусов, и я благополучно доехал до Читы. Ближайший поезд был экспресс Москва-Пекин. Когда я предъявил билет проводнику, он оглядел меня с головы до ног и с ног до головы. Полтора месяца я умывался снегом, спал на полу или на земле, не снимая тулупа - и чистейший, сверкающий, мягкий купированный вагон (других в этом поезде не было). Я спросил, куда мне идти. - А куда хочешь, - махнул рукой проводник. Во всем вагоне я был единственным пассажиром. Я выбрал купе посередине вагона, сел на мягкий кожаный диван, посмотрел в зеркало на свою заросшую морду, на цветы в вазочке. По радио пела Шульженко «хранят так много дорогого чуть пожелтевшие листья».

О, зеро! Мне выпала редкая удача увидеть это озеро. После того, как я помог старику спасти сети, я отправился в тайгу на озеро Духовое, километрах в двадцати от Байкала. Был конец сентября, уже зима. Озеро окружено сопками, оранжевыми, охристыми, желтыми от еще не сбросивших листву берез и лиственниц. В темной воде отражено то же оранжевое, охристое, желтое. Заснеженная земля кажется невесомой по сравнению с мощными, сомкнувшимися бок-о-бок сопками, тяжелой водой озера. Когда шел снег, небо и земля сливались, и овал озера вместе с сопками, их отражением и маленькой охотничьей избушкой на берегу висели в поднебесье. Людям, наверное, казалось, что над озером летают бесы или духи.

Утром я помогал, как мог, рыбакам - нескольким парням, жившим в охотничьей избушке, ставить сети. Вечером их вытаскивали. Рыба, не благородный байкальский омуль, а лещ, щука, крупная плотва, окунь, но в огромном количестве. Эта рыба шла, в основном, на зверофермы. Вечером в большом котле варили уху. Ребята целкали рыбу, как семечки. Пока я съедал одну, они десять. Спали на полатах. Как-то вечером в избушку пришли охотники. «Ну теперь блохи заедят», - сказал один рыбак. Я не хотел,

Москва 1999 г.
Тираж 500 экз.
Фото А.Забрина
Сканирование и
подготовка к печати
Г.Игрунов

чтобы меня кусали блохи и не хотел спать в тесноте. Я лег на полу около железной печурки. Почему-то не засыпал. Дрова прогорели, сразу стало холодно. На полу, очевидно, ни разу не мытом, в последних отсветах от углей была видна грязь в сантиметр толщиной, дыры, из которых тянуло лютым холодом. Я поджал ноги, запахнулся в телогрейку, не помогало. Я снял телогрейку, накинул ее на голову, стало теплей дышать, но мерзли ноги. Вдруг меня осенило: сегодня второе октября 1954 года - мне ровно двадцать пять лет. Я лежу, как собака, на грязном полу и тряусь от холода, как собака. Я встал, нашел на полатах щель между спящими и втиснулся в нее правым боком. Пошевелиться было нельзя, но было тепло, я был счастлив и быстро заснул. Более счастливого дня рождения у меня не было. Кур прокукарекал трижды. И райска птица-жар, и лева-зверь, и все звери и птицы стали мне близки. На второй год пребывания в Улан-Удэ я купил охотничье ружье. Миша Перельман, я и еще несколько парней пошли охотиться на куропадок. Ходили часа два, мне надоело, пошел обратно в город берегом Селенги. Около домика бакенщика увидел стог сена. У стога лежала рыжая собака, свернувшись клубком, и равнодушно смотрела на меня. Я прошел мимо. Оглянулся и понял, что такого пушистого с белым кончиком хвоста у собак не бывает. Да и морда, теперь я рассмотрел ее, совсем не собачья. Дрожащими руками, медленно, чтобы не делать резких движений, я стал снимать ружье. И лиса тоже медленно стала подниматься. Когда я приложил ружье к плечу, она была такова. Досада на себя, даже ярость, что лиса провела меня, даже не встала, когда я проходил всего в десяти метрах от нее, заставила меня броситься за ней. Сначала я бежал по следам, потом, когда следы потерялись, на авось. Конечно Перельман с ребятами не добудут куропадок, а я с лисой на плече пройду по всему городу, зайду в издательство. Я пробежал до темноты, но не доказал ни себе, ни лисе, что я не совсем плохой охотник. Второй раз я охотился с Мишей на гуранов - маленьких оленей. Старый опытный охотник поставил нас в засаду, а сам пошел в загон. Было зимнее раннее утро. Одна звездочка не успела слиться на небо, запутавшись в еловых ветвях над нашими головами. Лес светлел, мы увидели вдруг гуранов. Они отталкивались от земли и долго, как в замедленной съемке, летели. Я забыл про ружье, любуясь ими. Миша опустился на колени, прицелился, нажал на спуск - осечка, нажал на другой крючок - опять осечка. Он перестарался - сильно смазал ружье, на морозе смазка замерзла. Появился старик. Не было таких чертей, матерей и частей тела, которых он не упомянул. Поостыив, он рассказал для меня историю, как недавно к его знакомому

в избу забежал гуран, за которым гнались волки. «Во, добыча сама пришла», - обрадовался этот знакомый. - «А ты, как баба, слюни распустил», - закончил старик. На следующий день я кому-то отдал ружье.

Теперь, через многие годы, я благодарю судьбу, что не позволила мне застрелить ни куропатку, ни лису, ни гурана. Когда я учился в 1945 году в восьмом классе Раменской железнодорожной школы номер десять, у нас чуть ли не главным предметом было военное дело. На школьном дворе огородили участок для тира. Как-то была моя очередь стрелять. Я лег, прицелился в яблочко, но, заметив около мишени прыгающего воробья, прицелился в него и выстрелил. Стрелял я плохо, в десятку никогда не попадал. Удивился, что воробей не взлетел. Подбежал к мишени, около нее лежал воробей. Я радостно закричал ребятам: смотрите, какой я стрелок! Снова посмотрел на воробья. Он лежал на спине, подпирая небо тоненькими неживыми ножками. Прошло уже больше пятидесяти лет, я не могу простить себе этот выстрел. И облачка посыльные плывут, плывут по синему.

Приезжаешь на какую-нибудь речку в глубине России - Пру, Мологу, Кабожу, Вуоксу, Великую (Может быть, река Пра - это пра- Река?). Неширокая речка, тихое течение. Дождь несколько дней льет, не отдыхая. Рубишь, рубишь сухие деревья, чтобы костер не перестал разговаривать. Снова плывешь, ставишь палатку, встаешь в пять утра, чтоб наловить рыбок для ухи. И земляника, черника, желтые от лисичек полянки. В августе кочки под моховым зеленым, бархатным одеялом, расписанным броской алобокой брусничкой.

Приезжаешь на какую-нибудь речку в глубине России. Течет речка нешироко, неспешно, разливаются озерами, из них вытекает узенькой протокой, снова становится рекой и петляет прихотливо - вбок, зачем-то назад, вправо, влево, опять прямо по лугам, потом лес принимает ее в себя. Над самой водой порхают темно-ультрамариновые стрекозы - сшивают воду с небом. Вода пасется в камышах.

Приезжаешь на какую-нибудь речку в глубине России, как будто долго спал с прошлого путешествия, как будто не было года городской жизни - и вот она, жизнь настоящая. Я погрузил в пустую байдарку удочки, поплыл на рыбалку. На каком озере это было? Утро яркое, редкие облачка на синем. Клевало плохо. Дрема ненасильно уложила меня на дно байдарки, уткнувшейся носом в камыши. Озеро круглое, и небо над ним круглое. Только я между двумя кругами. Я лег на теплое дно байдарки, она медленно поднималась и опускалась. Ни ветра, ни ветерка, вода неподвижна, застыла. Озеро меня качало, а может быть, какой-то ритм вселенной, она баюкала меня в своих руках.

